

Анатолий Шигапов



САД ПЕРВЫЙ ВЗДОХ

Анатолий Шигапов

САД ПЕРВЫЙ ВЗДОХ

«Автор»

2026

Шигапов А.

САД ПЕРВЫЙ ВЗДОХ / А. Шигапов — «Автор», 2026

Она думала, что попала в рай. Маленький дом у реки. Тёплый хлеб по утрам. Мамины руки, пахнувшие мылом и водой. Мир, где тебя всегда защитят и никогда не предадут. Это длилось пять лет. Потом дверь распахнулась иВсё, что было до, стало «раньше». Всё, что было после, стало жизнью. Эта книга о выживании. Не о еде и укрытии. О том, как сохранить себя, когда всё вокруг пытается тебя уничтожить. О том, как не погаснуть, когда тьма смыкается со всех сторон. Она не героиня. Она просто хочет жить.

© Шигапов А., 2026

© Автор, 2026

Анатолий Шигапов

САД ПЕРВЫЙ ВЗДОХ

ТОМ 1: «ПЕРВЫЙ ВЗДОХ»

Она думала, что попала в рай

Предисловие

Я хочу рассказать вам одну историю.

Она началась в маленьком доме у реки, где половицы пели под ногами, а мамины руки пахли мылом и речной водой. Она началась с тёплого хлеба по утрам и колыбельных по ночам. Она началась с наивной веры в то, что мир - это безопасное место, где тебя всегда защитят и никогда не предадут.

Она закончилась в один миг, когда дверь распахнулась, и в дом ворвались люди в чёрном.

Всё, что было до - стало «раньше». Всё, что было после - стало жизнью.

Эта книга - о девочке, которая в пять лет не знала, что такое смерть, но увидела её. Которая в шесть лет не знала, что такое одиночество, но почувствовала его. Которая в девять лет не знала, что такое свобода, но вырвалась за ней. Которая в десять лет не знала, что такое рай, но поверила, что нашла его.

Она ошиблась.

Но она не перестала искать.

Я написала эту книгу не для того, чтобы рассказать о магии, артефактах, тайных орденах и древних силах. Всё это есть в тексте, но это не главное. Главное - внутри главной героини. Главное - то, как она меняется, когда мир раз за разом доказывает ей, что он жесток. Главное - как она учится доверять и как ей разбивают сердце. Главное - как она теряет надежду и находит её снова, вопреки всему.

Потому что эта книга - о выживании. Не в смысле «найти еду и укрытие», хотя и об этом тоже. А в смысле «сохранить себя, когда всё вокруг пытается тебя уничтожить». Сохранить способность чувствовать, когда боль становится единственным, что ты знаешь. Сохранить способность любить, когда кажется, что любовь - это слабость. Сохранить способность надеяться, когда надежда приносит только разочарование.

Лира - не героиня. Она не выбирала свой путь. Она не рвалась к приключениям и не мечтала о великих свершениях. В пять лет она мечтала, чтобы мама улыбнулась. В шесть лет она мечтала, чтобы её перестали бить. В девять лет она мечтала найти кусок хлеба. В десять лет она мечтала просто дожить до следующего утра. Она никогда не была героиней в привычном смысле этого слова. Она была девочкой, которая просто хотела жить. Которая просто хотела, чтобы кто - то обнял её и сказал, что всё будет хорошо. Которая просто хотела, чтобы мама была рядом.

Но мир был жесток к ней. И она стала жестокой в ответ - не потому, что хотела, а потому, что это был единственный способ выжить.

Она научилась не плакать, когда больно. Не говорить, когда хочется кричать. Не доверять, когда хочется верить. Она научилась быть тенью, быть никем, быть пустотой. Потому что быть никем - безопасно. Потому что если ты никто, тебя не трогают. Тебя не бьют. Тебя не предадут. Ты просто существуешь, и этого достаточно.

Но внутри неё, где - то глубоко, под слоями холода и отчаяния, всегда теплилась искра. Та самая искра, которую она носила в себе с детства, которую передал ей отец, которую не могли погасить ни голод, ни побои, ни годы одиночества. Искра, которая ждала своего часа. Искра, которая в нужный момент разгорится в пламя.

Я не знаю, кто вы, читатель. Может быть, вы взрослый, который помнит, как это - быть маленьким и беззащитным. Может быть, вы подросток, который ищет в книгах ответы на вопросы, которые не решается задать вслух. Может быть, вы такой же ребёнок, как Лира, - потерянный, напуганный, но всё ещё надеющийся.

Кем бы вы ни были, я хочу, чтобы вы знали: вы не одни. История Лир - это история о том, что даже в самой глубокой тьме можно найти свет. Что даже когда мир рушится, можно отыскать в обломках то, что стоит сохранить. Что даже когда ты совсем один, можно найти кого - то, кто станет твоей семьёй.

И что иногда - всего лишь иногда - одного маленького тёплого камня на шее достаточно, чтобы не погаснуть окончательно.

Эта книга - первая в серии. Она о самом начале. О том, как маленькая девочка, ничего не понимая, делает первые шаги в мир, который готов её уничтожить. Она ещё не знает, что ждёт её впереди. Она ещё не знает, что белый замок на скале - не рай, а золотая клетка. Она ещё не знает, что люди, которые улыбаются ей, - не друзья. Она ещё не знает, что её дар - не проклятие, а благословение. Или наоборот.

Она узнает всё это позже. А пока она просто идёт вперёд, шаг за шагом, оставляя позади обломки своего детства. И всё, что у неё есть - это камень на шее, который пульсирует, как второе сердце, и вера в то, что когда - нибудь всё будет хорошо.

Надеюсь, вы будете рядом с ней. Что вы будете болеть за неё, когда ей больно. Что вы будете радоваться, когда она находит крошечный лучик света в бесконечной тьме. Что вы будете надеяться вместе с ней, когда она почти перестаёт верить.

Потому что эта книга - о надежде. О том, что даже когда кажется, что всё потеряно, можно найти в себе силы идти дальше. О том, что даже когда мир рушится, можно отыскать в обломках то, что стоит сохранить. О том, что даже когда ты совсем один, можно найти кого - то, кто станет твоей семьёй.

Приятного чтения,
Анатолий Шигапов

ГЛАВА 1: Дом у реки

Река была единственным, что не менялось в этом мире. Она текла мимо дома Лир - медленно, лениво, словно огромная змея, которая грелась на солнце после долгой охоты. Её воды, мутные и зелёные от густых водорослей, пахли летом рыбой и тиной, а зимой - сырým холодом и дымом от соседних труб. Этот запах был особенным: в нём смешивались влажный ил, нагретая солнцем древесина старых мостков и едва уловимая горечь от сжигаемых по вечерам веток. Лира любила этот запах, даже не зная почему. Он был запахом дома. Запахом матери. Запахом её маленькой, хрупкой вселенной, за стенами которой начинался большой, непонятный и пугающий мир. Иногда, когда ветер дул с противоположного берега, доносились иные ароматы - сладкие, чужие, пахнущие цветами и дорогими духами, - и тогда девочка на мгновение замирала, чувствуя, что за рекой есть что - то, чего она никогда не видела, но что манит её, как далёкий огонёк в ночи.

Дом у реки был старым. Очень старым. Его деревянные стены, выкрашенные когда - то в бледно - голубой цвет, выцвели до серого, а кое - где почернели от влаги, оставив на досках причудливые узоры, похожие на карты неизведанных земель. Доски крыльца прогнулись под тяжестью бесчисленных шагов, и каждая из них хранила свою историю: одна пела высоким тонким скрипом, если наступать на самый её край, другая издавала глухой стон, а третья вообще молчала, но в дождь под ней скапливалась вода, и Лира любила прыгать по лужицам, возникающим в этих углублениях. Оконные рамы перекозились, так что в щели постоянно задувал ветер, заставляя шторы колыхаться даже в безветренную погоду, и по ночам девочка

часто просыпалась от того, как тонкие полоски света танцуют на потолке, а вместе с ними дрожит и тень старого клёна за окном.

Мать называла этот дом «нашей крепостью», и для Леры он действительно был ею - каждым углом, каждой трещиной на потолке, знакомыми до мельчайших подробностей. Под третьей половицей в коридоре жил маленький паучок: каждое утро он плёл новую паутину, а к вечеру та рвалась от сквозняка, но паучок не унывал и начинал сначала. Она знала, где половица скрипнет громче всего - чтобы обойти её, если хотелось прокрасться на кухню за яблоком; а где, наоборот, ухала глубоким басом, если наступить с пятки, - тогда Лере казалось, что дом сердится на неё, но по - доброму, как старый ворчливый дедушка. Зазубринки на дверной ручке, пятнышки на обоях, которые мать пыталась заклеивать газетами, - всё это жило в её памяти; даже трещина на печной трубе, через которую зимой пробивался тонкий лучик света, была старым другом.

Полы в доме были её главными собеседниками. Они скрипели, стонали и вздыхали под ногами матери, когда та проходила из комнаты в комнату с корзиной белья, - и эти звуки складывались в особую мелодию: быструю, если мать спешила; тягучую и усталую, если день выдался особенно трудным. Этот скрип стал ритмом всей жизни в доме. Утром, когда мать вставала первой и разжигала печь, половицы издавали короткое, деловое поскрипывание, словно дом подбадривал хозяйку; днём, пока она ходила взад - вперёд, развешивая мокрые простыни во дворе, скрип становился размеренным, как дыхание спящего великана; а вечером, когда она несла Леру на руках в кровать, половицы под ними пели особенно, тихо и убаюкивающе, - и девочке казалось, что это сам дом поёт ей колыбельную. Лера часто закрывала глаза, пытаясь угадать, где сейчас мать, просто прислушиваясь к этим звукам: доносился скрип из кухни - значит, мать готовила ужин; с крыльца - развешивала бельё; из спальни - устала и прилегла отдохнуть.

Но были у Леры и другие способы чувствовать мать - те, что не требовали звука. Каждое утро, когда мать ещё не бралась за стирку, а дом наполнялся запахом свежего хлеба и тёплого молока, они садились на крыльцо, и мать учила её слушать мир. «Слышишь? - говорила она, прикрывая глаза. - Это жаворонок. Он всегда поёт первым, ещё до рассвета. А вот это - дрозд. Он отвечает ему, когда солнце касается верхушек деревьев». Лера закрывала глаза и слушала, пытаясь запомнить каждый голос, каждую трель, каждое изменение в этой утренней симфонии. Она не знала, зачем это нужно, но чувствовала: мать даёт ей что - то важное, что - то, что останется с ней навсегда, даже когда голос матери замолкнет. Иногда мать брала её за руку и вела к реке, показывая, как вода меняет цвет в зависимости от времени суток - серебряная на рассвете, золотая в полдень, тёмная и таинственная на закате. «Запоминай, дочка, - говорила она. - В мире есть вещи, которые не меняются никогда. Река, небо, птицы. Они будут с тобой, даже когда меня не станет». Лера не понимала тогда этих слов, но запоминала их, как запоминают колыбельную - сердцем, а не умом.

Мать говорила, что запахи - это душа дома, и Лера, хоть и не понимала до конца значения этих слов, верила ей безоговорочно, верила во всё, и это было единственное, что девочка знала наверняка в свои пять лет: мать никогда не лжёт. Даже когда мать говорила, что у неё всё хорошо, хотя под глазами проступали тени, а щёки бледнели, Лера всё равно верила, потому что мамина улыбка была для неё таким же незыблемым законом, как восход солнца на востоке и вечное течение реки вниз. Эта вера стала её опорой, тихим якорем в мире, где многое оставалось загадкой, - и она держалась за неё, как утопающий за соломинку, даже не осознавая, что однажды этой соломинки не станет.

Мать работала прачкой - для богатых людей из города, что жили в высоких особняках на том берегу, где река сужалась и становилась прозрачной, почти стеклянной. Иногда Лера видела эти особняки издалека, и они казались ей замками из сказок - с белыми колоннами и острыми шпилями, устремлёнными в небо; ей представлялось, как там, внутри, ходят люди в

шёлковых платьях и бархатных камзолах, а по мраморным лестницам бегают ручные павлины. Но мать никогда не водила её туда. «Не наше это, милая, - говорила она, качая головой. - Наше дело - стирать, а не разглядывать».

Руки у матери были красными, с глубокими трещинами от холодной воды и едкого мыла, которое она делала сама - из золы и жира, меся эту смесь часами, пока та не превращалась в серую, пахнущую дымом массу. Лире казалось, что мамины руки всегда болят; красные пятна на тряпках она видела, но мама улыбалась и говорила: «Ничего, доченька. Это просто вода». И Лира верила, потому что мама никогда не врала. Капли крови падали в таз с водой и расплывались алыми облачками, но мать делала вид, что ничего не случилось, и напевала свою любимую песню - старую, тягучую, о девушке, которая ждала моряка с далёких берегов. Гладила вороха белья, стоя на коленях у тазика, и спина болела так, что по ночам не находилось места в кровати, но на рассвете она опять вставала с улыбкой, разминая затёкшие руки. Улыбка была у неё особая - тёплая, как печка в холодный вечер, и всегда предназначалась только Лире.

Даже когда Лира просыпалась от ночных кошмаров, в которых за ней гнались чёрные тени без лиц, мать приходила к её кровати, поправляла одеяло и улыбалась ей в темноте. И Лире сразу становилось спокойно, будто эти тени были всего лишь игрой воображения, а реальный мир - это мамины руки, глядящие её по голове, и тихий шёпот, обещающий, что всё будет хорошо.

Они были бедны - и Лира знала это. Видела, как мать пересчитывает медяки на столе, раскладывая их по кучкам: одна - на хлеб, вторая - на дрова, третья - на соль и мыло. Видела, как откладывает хлеб «на чёрный день» - маленький, чёрствый кусок, который прятала в шкафчик и никогда не трогала, даже когда сама оставалась голодной. Видела, как штопает свои платья, пока они не становились похожими на лоскутные одеяла, и каждую новую дыру зашивала с такой тщательностью, будто это было не просто платье, а карта её жизни, где каждая заплатка означала прожитый день. Знала это и то, что нет игрушек, кроме самодельных кукол из тряпок и шерстяных ниток, а ботинки, купленные на базаре, уже продырявились на мысках, но мать набивала их травой и говорила, что так даже теплее. И всё же они были счастливы. По крайней мере, Лира была счастлива. Её мир состоял из маленьких радостей: тёплый хлеб с маслом по утрам, когда мать отламывала самый румяный край и намазывала его жёлтым, пахучим, тающим во рту маслом; брызги речной воды на лице в жаркий день, когда удавалось сесть на мостки и болтать ногами над самой поверхностью; песня матери, которую та напевала, стирая бельё, - мелодия, вплетавшаяся в шум воды и шелест ветра; и, конечно, та самая фотография в ящике комода, завернутая в чистую льняную тряпицу, чтобы не выцветла окончательно.

Отца Лира не помнила. Совсем. Ни голоса, ни запаха, ни того, как он держал её на руках. Но его лицо, застывшее на выцветшем снимке, было ей роднее всего на свете. На том фото он держал её на руках - совсем крошечную, в белом одеяльце, безмятежно уткнувшуюся носом в его плечо, и даже сквозь выцветшую бумагу было видно, как её пальчики сжимают край его рубашки, будто даже во сне не хотели отпускать. Запаха его, голоса, рук - всего этого не осталось в памяти. Остались только глаза на фотографии: усталые, но такие тёплые, с лучиками морщин в уголках, выдававшие в нём человека, умеющего улыбаться, даже когда жизнь была тяжела. Худое, слегка загорелое лицо, острые скулы, тонкие губы, а на шее - странный камень на тонком кожаном шнурке, тёмный, почти чёрный, с золотистыми прожилками, которые, как казалось Лире, переливались на фото нездешним, внутренним светом, словно внутри него горела маленькая звезда, видимая только в самые тёмные ночи. Она часто подолгу разглядывала снимок, водя пальцем по контуру его лица, по щетинистому подбородку, по этому волшебному камню, и каждый раз ей казалось, что он смотрит на неё с фотографии не как на постороннего человека, а как на самое дорогое, что у него было.

«Что это у него?» - как - то спросила она у матери, когда та в очередной раз вытирала пыль с комода.

Вопрос повис в воздухе, тяжёлый и липкий, как утренний туман над рекой. Мать, разбивавшая выстиранное бельё в углу, замерла на мгновение, и её руки, до этого двигавшиеся ритмично и уверенно, остановились. Её лицо, всегда такое улыбчивое и открытое, вдруг стало чужим - замкнутым, каким - то каменным, как будто внутри неё захлопнулась дверь, которую Лира даже не замечала раньше. Глаза потемнели, а пальцы, сжимавшие мокрую простыню, побелели на костяшках, и девочка увидела, как по рукам матери пробежала дрожь - мелкая, едва заметная, но отчётливая. Потом она резко, почти грубо, выхватила фотографию из рук Леры и убрала её обратно в ящик, захлопнув его с глухим стуком, который эхом разнёсся по комнате и на мгновение заглушил даже шелест реки за окном.

«Просто украшение, - сказала мать, не глядя на дочь, и голос её звучал глухо, будто она говорила сквозь плотную ткань. - Он любил его. Не трогай его больше, хорошо?»

Лира не поняла такого резкого тона. Мать никогда не говорила с ней так - никогда та разбивала чашку, никогда приносила в дом грязную глину с берега, ни даже когда однажды случайно обожгла мамину любимую скатерть. В голосе матери прозвучала нотка, которую Лира не могла объяснить: смесь страха и горечи, как будто она говорила о ране, которая всё ещё не зажила и кровоточит под повязкой, которую она старательно прячет от всех. И девочка вдруг почувствовала, что за этим ящиком, за этой фотографией и этим камнем скрывается что - то большое, тёмное и опасное, что мать не хочет ей показывать, как не показывает нож для резки мяса или старые письма, которые иногда достаёт из - под матраса и читает, когда думает, что Лира спит.

«Где он сейчас?» - спросила Лира, глядя на закрытый ящик, и её голос прозвучал тише, чем она хотела, потому что в груди вдруг стало тесно.

Мать замолчала. Тишина в комнате стала тягучей, густой, почти осязаемой - её можно было резать ножом, как холодный кисель. Внезапно Лира услышала, как мать вздохнула - долго, с дрожью, будто воздух в её лёгких превратился в ледяные иглы, - и та подошла к дочери, села на корточки. На лице матери боролись друг с другом разные чувства: боль, страх, нежность и что - то ещё, чему девочка не могла найти названия. Красные, обветренные руки легли на плечи Леры - шершавые, как кора старого дуба, но тёплые, и привычное тепло разлилось по телу. На секунду лицо матери дрогнуло, будто она собиралась заплакать, и на ресницах блеснула крошечная слезинка, но мать сдержалась, сглотнула и улыбнулась. Улыбка эта была другой - как маска, которую мать надела, чтобы скрыть что - то внутри: тонкая, хрупкая, готовая треснуть от любого неосторожного слова.

«Он болел, Лира, - тихо произнесла она, и голос дрогнул на последнем слоге. - Лекарства не помогли. Ты была совсем маленькая, ты даже не помнишь его лица. Он ушёл, милая. Ушёл туда, откуда не возвращаются».

Что такое смерть, Лира не понимала. Для неё это было абстрактное слово, что - то такое же непонятное, как «бесконечность» или «вечность» - понятия, слышанные в церковных песнопениях по праздникам, но смысла которых нельзя было уловить. Отец просто ушёл - думалось ей. Ушёл далеко, может быть, в тот самый большой и богатый город, откуда мать приносила грязное бельё. В воображении рисовалось, как он идёт по широким каменным улицам, где дома выше самых высоких деревьев в их лесу, и улыбается прохожим, а те уступают ему дорогу, потому что он выглядит важным и сильным. Верилось, что однажды он вернётся, придёт в дом у реки - такой же, как на фотографии, только живой и настоящий, с тёплой улыбкой, с запахом табака и дождя, с тем самым загадочным камнем на шее. Он обнимет её, подбросит к потолку и засмеётся своим низким, раскатистым смехом, и всё станет хорошо, как в сказках, которые мать рассказывала ей перед сном. Этого она ждала. Ждала изо дня в день, прислушиваясь к шагам на дороге, что вела к их дому, и каждый раз, когда кто - то проходил мимо, сердце начинало биться быстрее - а вдруг это он?

Она была просто ребёнком, и мир её состоял из солнечных зайчиков на стене, прыгавших от маминого зеркальца, из запаха речной тины и свежевystиранного белья, из маминой колыбельной, которую та пела по вечерам, сидя у кровати и поглаживая её по спине. Мир этот был маленьким, уютным и безопасным, как гнездо на высокой ветке, куда не могут добраться хищники, и она не подозревала, что это гнездо уже заметили те, кто умеет лазать по деревьям.

Часто дни проводились у самого берега. Любимым местом было там, где старые ивы склоняли ветви к воде, а корни выступали над поверхностью, образуя маленькие пещерки, в которых можно было сидеть и смотреть на проплывающие облака. Собирались гладкие речные камни, тёплые от солнца, перебирались пальцами, ощущая их гладкость и прохладу, и бросались в воду - круги расходились по мутной поверхности, сталкивались друг с другом и исчезали, словно их и не было. Любилось смотреть, как маленькое отражение разбивается на сотни осколков, искажаясь рябью, и каждый раз казалось, что это не она, а кто - то другой - таинственная незнакомка с тёмными волосами и серьёзными глазами - смотрит на неё из глубины. Это было маленькое волшебство, личный ритуал, который никто другой не понимал. Перебирались камешки, выбирались самые красивые - с белыми прожилками, похожими на молнии, или с прозрачными крапинками, будто внутри застыли маленькие капли дождя, - и складывались в кармашек поношенного платья, которое когда - то было синим, а теперь выцвело до бледно - голубого. Носились они с собой, пересыпались из одной руки в другую, шептались им секреты - пока мать случайно не находила их во время стирки и не выбрасывала, ворча на «грязные игрушки». Но Лира не обижалась: знала, что завтра найдёт новые, ещё более красивые, и всё начнётся сначала.

Но однажды произошло нечто странное. На берегу нашёлся прекрасный цветок - невеста как занесённый сюда с верхнего течения, может быть, ветром, может быть, водой, а может быть, птицами, потерявшими его по пути. Он рос прямо у воды, на крошечном клочке влажного песка, омываемый брызгами, и выглядел таким хрупким и нежным, что Лира боялась дышать рядом с ним. Большие белые лепестки, нежные, как мамина кожа, с едва заметными розовыми прожилками у основания; жёлтая сердцевина, пахнувшая мёдом и чем - то ещё - сладким, тёплым, похожим на летнее утро. Никогда не видела Лира таких цветов, даже на картинках, которые иногда приносила мать из города вместе с выстиранным бельём. Казалось, он светится изнутри, как тот самый камень на отцовской фотографии, и рука сама потянулась, желая ощутить его бархатистость, прикоснуться к этой неземной красоте.

Но едва её пальчик прикоснулся к живому белому краю, как цветок начал увядать на глазах. Лепестки сначала побледнели, потеряв свою молочную белизну и став прозрачными, как льдинки, потом по краям поползла бурая плесень, они сморщились, скрутились в трубочки и начали опадать один за другим, оставляя после себя тонкий, горьковатый запах тления. За несколько мгновений от прекрасного цветка остался только сухой, сломанный стебель, торчащий из земли, как маленький чёрный памятник тому, что только что было живым.

Рука Леры отдернулась, будто обожглась, и взгляд уставился на пальцы. Чистые, без каких - либо следов - ни пылцы, ни сока, ни даже капли влаги. Взгляд переметнулся на сухой, мёртвый стебель, потом на другие цветы, росшие рядом, - те цвели по - прежнему, покачивая головками на ветру и не обращая внимания на то, что случилось с их собратом. Страх не было. Только мысль, что цветок был старым, просто засох прямо в тот момент, когда пальцы коснулись его, - такое иногда бывает с цветами, когда они отцветают, разве нет? Показалось, что это совпадение, случайность, которую не стоит принимать близко к сердцу. Значения этому не придалось, руки отряхнулись, и ноги сами понесли дальше собирать камни, оставив мёртвый стебель позади, как оставляют забытую игрушку.

В другой раз, когда рука гладила старого дворового пса по кличке Ветка - лохматого, рыжего, с одним висячим ухом и вечно мокрым носом, их единственного соседского друга, часто приходившего греться на крыльце, - тот внезапно заскулил высоким, жалобным звуком,

отбежал на несколько шагов и прижался к земле, поджав хвост и косясь испуганными, влажными глазами. Попытка подойти ближе заставила его попятиться, зарычать - тихо, не угрожающе, а скорее умоляюще, - и, трусливо виляя хвостом, словно извиняясь, он убежал в кусты и долго не показывался. Лира удивилась, но решила: пёс просто устал от жары или его напугала какая - то птица.

Было и другое происшествие, о котором Лира никому не рассказала. В тот день она помогала матери развешивать бельё - держала край мокрой простыни, пока мать расправляла её на верёвке. Рука Леры случайно коснулась стебля старого подсолнуха, росшего у забора. Тот был высоким, крепким, с большой жёлтой головой, повёрнутой к солнцу. Но в тот самый миг, когда пальцы девочки скользнули по его шершавому стеблю, он начал увядать. Листья сначала побледнели, потом скрутились в трубочки, лепестки потемнели и начали опадать один за другим, как будто их сдувал невидимый ветер. За несколько мгновений цветок превратился в сухую, ломкую тень, которая рассыпалась в пыль при малейшем прикосновении. Лира отдернула руку и уставилась на свои пальцы, но те были чистыми - ни следа, ни пыльцы, ни даже влаги. Она хотела позвать мать, но что - то остановило её. Странное, холодное чувство, которое шептало: «Ты не хочешь, чтобы она знала». Она просто стояла и смотрела на сухой стебель, торчащий из земли, как маленький чёрный памятник тому, что только что было живым. В тот вечер она долго не могла уснуть, глядя на свои руки при лунном свете. Они казались ей чужими, как будто принадлежали кому - то другому - кому - то, кого она не знала и не понимала. Она сжала их в кулаки и прошептала в темноту: «Я не хочу делать больно. Я не хочу, чтобы они умирали». Но руки молчали. Только камень на шее, который она уже начала носить, слегка пульсировал, как будто соглашался с ней.

Рассказывать матери не хотелось - чтобы та не думала, будто она делает что - то не так. Не знала она, что обычный ребёнок не убивает цветы одним прикосновением. Не знала, что дар, унаследованный от отца, начинал пробуждаться в ней, как спящее чудовище, которое только и ждало, когда его разбудят, - тихо, незаметно, но неумолимо.

Но мать лгала себе. Каждую ночь, когда Лира засыпала, она подходила к кровати дочери и смотрела на неё долгим, тяжёлым взглядом. Она видела, как меняется девочка - как странный, необъяснимый холод исходит от неё, когда она спит, как иногда воздух вокруг неё становится гуще, тяжелее, будто сама тьма сгущается вокруг её маленького тела. Она знала, что этот дар - отцовский, что он передался Лире не случайно, что он будет расти и крепнуть с каждым годом, пока не станет слишком большим, чтобы его можно было скрыть. Она помнила тот день, когда впервые увидела Элиаса - отца Леры. Помнила его глаза, горевшие странным золотистым светом, когда он смотрел на неё через костёр в ту ночь, когда они встретились. Он сказал ей тогда: «Ты не боишься меня?» А она ответила: «Нет. Ты - не то, что я вижу. Ты - то, что я чувствую». И он улыбнулся - той самой улыбкой, которую потом унаследовала Лира. Мать знала, что этот дар - не проклятие, а благословение, но мир был жесток к тем, кто отличался от других. Она знала, что за этим даром охотятся, что люди в чёрном не остановятся, пока не найдут его. Она знала, что однажды ей придётся выбирать: отдать дочь или умереть. И она уже сделала свой выбор задолго до того, как пришли те, кто стучал в дверь. «Я защищу тебя», - шептала она в темноту, глядя на спящую Лиру. - «Даже если мне придётся сгореть дотла». Она не знала, что это обещание станет её последним словом.

Мать тоже не знала. Видела, как дочка возвращается домой с пустыми карманами или с растерянным лицом, когда пёс вдруг начал её бояться, но списывала всё на детскую фантазию и переменчивый нрав животных, на слишком живое воображение девочки, которая просто что - то напридумывала. Думалось, что Лира просто растёт, меняется, становится более серьёзной, и радовало то, какая она спокойная и приветливая - не плаксивая, не капризная, всегда с тёплой улыбкой и ласковым словом для всех.

Но по ночам, когда дом погружался в тишину и только река шептала за окном своим бесконечным, успокаивающим голосом, мать Леры часто просыпалась. Лежала в кровати, глядя, как лунный свет падает на старый деревянный пол, рисуя на нём серебряные полосы, и пыталась унять дрожь в сердце - ту, что начиналась где-то глубоко в груди и расходилась по всему телу, заставляя сжимать одеяло в кулаках. Слишком хорошо знала она, откуда у дочери этот дар. Знала, что кровь Элиаса не обманывает, что эта сила передаётся от отца к дочери, как проклятие, как неизбежность, от которой нельзя уйти. Видела, как Лира, даже не осознавая этого, влияет на окружающий мир. Видела это в увядших цветах, которые девочка приносила домой и которые через час превращались в сухую труху. Видела это в испуганных глазах пса, который раньше лизал ей руки, а теперь обходил стороной. И боялась. Боялась за Лиру. За то, что тот мир, от которого они прятались, обязательно вернётся за ней. Что однажды ночью за окном послышатся шаги, которых не должно быть, и в дверь постучат не те, кто приносит хлеб и молоко. Каждый вечер проверялись замки на двери, хотя они были старыми и слабыми, и каждый раз пальцы дрожали, поворачивая ключ в скважине. Каждый день пробуждение случалось от малейшего шороха, от скрипа половицы, от шелеста ветра, который был слишком громким. Знала она, что должна защитить свою дочь. Должна научить её скрывать этот дар, прятать глубоко внутри, чтобы никто не догадался, чтобы никто не увидел в её глазах тот самый странный свет, который мать иногда замечала в её взгляде, когда Лира смотрела на закат. Должна была рассказать ей правду о камне, об отце, о том, почему они живут в этой глуши, стирая чужие рубашки, вместо того чтобы жить в городе, где есть школы и доктора. Но не могла. Как можно сказать пятилетнему ребёнку, что её отец мёртв, что его убили из-за неё, что она, сама того не зная, стала причиной всего этого кошмара? Как можно взвалить на такие хрупкие плечи груз, который не выдержит и взрослый?

Не могла. Вместо правды продолжала улыбаться. Продолжала стирать бельё богатых горожан, выкручивая его до хруста, делая вид, что всё хорошо, что они в безопасности, что завтра будет таким же, как сегодня. Но глубоко в душе дала себе клятву, которую шептала в подушку каждую ночь, когда Лира уже спала: защищать её до последнего вздоха. Стоять на пороге этого дома с любым, кто посмеет переступить его, и если придётся умереть - умереть, глядя в глаза дочери, чтобы та знала: мать была рядом. Всегда.

А река всё текла. Несла свои мутные воды мимо дома, мимо старых ив, мимо того места, где Лира нашла тот злополучный цветок. Птицы пели, не умолкая, и ветер шумел в листве, создавая вечный, успокаивающий гул. Маленький дом у реки стоял тихо в этом мире, который казался таким спокойным и безопасным для девочки, смотревшей на закат, сидя на старой колоде у дома. В руке сжимался маленький гладкий камешек - тёплый, с серыми прожилками, похожими на речные струи, - и взгляд был устремлён на воду, где отражение дробилось и собиралось вновь, бесконечно и неизменно.

Иногда, когда солнце уже почти касалось горизонта и небо окрашивалось в багровые и золотые тона, Лира чувствовала странную тоску, которую не могла объяснить. Она не знала, откуда она берётся, почему вдруг становится тяжело дышать, почему хочется плакать без причины. Она сидела на старой колоде у воды, сжимала в руке гладкий камешек и смотрела на закат, думая о том, что за рекой есть что-то, чего она никогда не видела, но что манит её, как далёкий огонёк в ночи. «Мама, - шептала она, - а там, за рекой, есть другие дети? Они такие же, как я?» Мать, стоявшая неподалёку с корзиной мокрого белья, замирала на мгновение, и её лицо становилось задумчивым, почти печальным. «Есть, доченька, - отвечала она тихо. - Но они не такие, как ты. Ты - особенная. Ты - моя». Лира не понимала, что значит «особенная», но чувствовала в этих словах что-то важное, что-то, что мать не договаривала. Она просто кивала и смотрела на воду, где отражение заката дробилось на тысячи осколков, как будто сама река пыталась удержать уходящий день.

Не знала она, что это последнее лето её безмятежного детства. Что завтра, послезавтра или через месяц всё рухнет. Что мать умрёт, а жизнь превратится в череду кошмаров, из которых придётся выбираться ценой собственной души, теряя по пути кусочки себя, которые уже никогда не собрать обратно.

Но пока просто смотрела на круги, расходящиеся по воде, и слушала, как ветер шумит в старых ивах на том берегу, унося с собой мысли и мечты куда - то далеко - далеко, туда, где река впадает в море и начинается что - то новое, неизведанное, о чём она пока даже не догадывается. И в руке камешек светился последними лучами солнца, как маленький тёплый маяк в наступающих сумерках.

ГЛАВА 2: Ночной стук

Лира спала. Ей снился странный сон - она плыла над рекой. Не в лодке, не на бревне, не держась за корягу, а просто парила в воздухе, как пух одуванчика, подхваченный тёплым летним ветром. Она не боялась высоты. Было легко и свободно - так легко, что казалось, будто тело потеряло весь свой вес и стало прозрачным, как вода, как само небо, как тот золотой свет, который разливался вокруг неё бесконечным, тёплым океаном. Ветер ласкал лицо, играл с тёмными, растрёпанными волосами, закручивал их в спирали и отпускал, и внутри разливалось что - то тёплое и светлое, будто она сама превратилась в солнечный луч, в частичку того золотого света, что заливал горизонт от края до края, не оставляя места для теней.

В этом сне она не боялась. Она не боялась высоты, не боялась глубины, не боялась неизвестности. Она парила над водой, чувствуя, как ветер играет с её волосами, как он подхватывает её и несёт выше, к облакам, к солнцу, к чему - то огромному и светлому, что ждало её там, наверху. Иногда она опускалась ниже, почти касаясь поверхности воды, и видела своё отражение - девочку с тёмными волосами и серьёзными глазами, которая смотрела на неё снизу, как будто из другого мира. Они встречались взглядами - та, что была наверху, и та, что была в глубине, - и в этом безмолвном диалоге было что - то древнее, что - то, что не поддавалось объяснению. Лира хотела коснуться воды, чтобы дотронуться до своего отражения, но в тот момент, когда её пальцы почти касались поверхности, она просыпалась. Каждый раз. Всегда. И каждый раз ей казалось, что она что - то теряет, что - то важное, что - то, что нельзя вернуть.

С высоты птичьего полёта дом казался маленьким, серым, почти незаметным среди зелени деревьев - похожим на игрушечную коробочку, забытую на берегу. Крыша выглядела плоской, как доска, а двор - крошечным пятчком, где можно уместиться на одной ладони. Внизу, у реки, стояла мать и полоскала бельё. Её фигура была крошечной, как у куколки, и Лира видела, как мать выжимает мокрую ткань, как руки двигаются привычно, ритмично, как она иногда поправляет волосы, упавшие на лицо, как улыбается чему - то своему, невидимому. Хотелось крикнуть ей, помахать рукой, сказать, что она здесь, наверху, что летит, что счастлива, - но ветер подхватил и понёс дальше, выше, в голубое небо, простиравшееся бесконечно, как сама жизнь, и дыхание перехватило от этой красоты. Она парила над облаками, над лесами, над всем миром, казавшимся таким маленьким и безопасным, и в этот момент чувствовала себя частью чего - то огромного, вечного, что не могло закончиться никогда.

А потом пришёл звук.

Сначала он был далёким, почти неразличимым - как гром за горизонтом в жаркий летний день, когда тучи только собираются, но воздух уже становится тяжёлым и липким, пахнет озоном и тревогой. Он не вписывался в сон, в этот бесконечный полёт, в сияющее небо. Он был чужим, грубым, как царапина по стеклу, как скрежет металла по камню, как звук, который не должен был существовать в этом идеальном, безоблачном мире. Но он нарастал. Становился всё громче, всё резче, всё настойчивее, вырывая из сладкого забытья, заставляя падать обратно в тело, в кровать, в реальность - тёмную и холодную. Он нарастал, как волна, которая вот - вот разобьётся о берег, как дыхание приближающегося зверя, как топот бегущего стада. Он

был звуком чужой воли, звуком вторжения, звуком того, что не должно было проникнуть в маленький, тёплый, безопасный мир, но уже проникло, уже разрушило его, оставив только этот звук - грубый, настойчивый, смертельный.

Удар в дверь.

Лира открыла глаза.

В доме было темно. Так темно, что можно было утонуть в этой черноте, как в глубокой воде, где нет дна и берегов, только холод и пустота. Только луна, пробиваясь сквозь тонкие занавески, разливала по комнате серебряные, дрожащие пятна - похожие на разлитое молоко, на осколки разбитого зеркала. Они лежали на полу, на стенах, на старой деревянной кровати, заставляя тени от мебели казаться огромными и угрожающими: стул превращался в сторбленного старика с крючковатыми пальцами, комод - в чудовище с множеством глаз, смотревших из темноты, шкаф - в чёрную глыбу, за которой пряталась смерть. Лира заморгала, пытаясь прогнать остатки сна, но сон уходил медленно, неохотно - как вода из разбитого кувшина, как тающий снег, который уже не вернуть. Сердце билось ровно, но в груди поселился холодок, тот самый, что появлялся перед чем-то плохим. Она не знала, как он называется, но чувствовала его каждой клеточкой, каждой волосинкой на коже, вставшей дыбом, каждой мышцей, напрягшейся в ожидании ужасного.

А потом она услышала их.

Шаги. Тяжёлые. Грузные. Они доносились из - за двери, снаружи, и давили на крыльцо с такой силой, что старые прогнувшиеся доски жалобно скрипели под чужим весом, издавая те звуки, которые Лира знала с детства, но которые сейчас звучали иначе - как стон, как предсмертный вздох дерева, как крик старого дома, чувствующего, что его убивают. Каждый шаг отдавался в груди, в голове, в каждой косточке; доски плакали под ногами чужаков, не имевших права наступать на них. Но страшнее всего было то, что шаги раздались в доме. Где - то в коридоре, в двух шагах от комнаты, за тонкой стеной, которая никогда не казалась такой хрупкой. Шаги человека, который не должен был здесь быть. Который вошёл без приглашения, без стука, без права, без разрешения. Переступил порог, не спросив, и теперь его сапоги давили на половицы, знакомые как пять пальцев, - и эти половицы стонали под ним, как живые, будто сам дом кричал от боли.

Лира замерла. Не дышала. Сжалась под одеялом - старым, шершавым, с вытертыми краями, пахнущим маминым мылом и речной водой, - чувствуя, как тело покрывается мурашками, как холодок бежит по позвоночнику, заставляя мелко дрожать, как лист на ветру. Ей хотелось закричать, позвать маму, но страх сковал горло, сжал ледяными пальцами, не давая вырваться ни звуку. Половицы стонали под ногами чужого человека, издавая тот самый низкий, протяжный скрип, который она знала с пелёнок. Только сейчас он звучал иначе - не как голос дома, не как уютный шёпот, а как предупреждение, как вой сирены, как последнее слово перед тем, как всё рухнет.

В соседней комнате что - то грохнуло - упал стул, или таз с водой, или что - то тяжёлое, что мать поставила на край стола. Лира услышала, как мать вскочила с кровати - резко, словно её подбросило. Она двигалась быстро, почти бесшумно, как кошка, почуявшая опасность, - но Лира слышала каждое движение, потому что знала этот звук так же хорошо, как биение собственного сердца. Шаги были лёгкими, но Лира слышала, как они дрожат - короткие, прерывистые, полные ужаса, которого мать не могла скрыть. Мать влетела в комнату, даже не открывая дверь - просто толкнула плечом, и та с грохотом ударилась о стену, распахнувшись настежь; этот звук показался Лире оглушительным, как выстрел. В лунном свете лицо матери было бледным, как простыня, которую она стирала, - белым, почти прозрачным, без единой кровинки, с синими прожилками под тонкой кожей. Глаза были широко раскрыты, и в них плескался животный, первобытный страх, которого Лира никогда раньше не видела у своей улыбчивой матери, всегда находившей слова утешения, даже когда в доме не было хлеба. Она

дрожала так сильно, что было слышно, как стучат зубы - мелкая, сухая дробь, похожая на град по жестяной крыше. Руки тряслись, будто перестали подчиняться, будто стали чужими.

Лира видела, как мать пытается взять себя в руки. Как она сжимает кулаки, чтобы скрыть дрожь, как глубоко вздыхает, пытаясь успокоить сердце, которое, казалось, вот - вот вырвется из груди. На мгновение их взгляды встретились - и в глазах матери Лира увидела то, чего никогда не видела раньше: не просто страх, а отчаяние. Отчаяние человека, который знает, что сейчас произойдёт что - то непоправимое, но не может это остановить. ««Мама»», - прошептала Лира беззвучно, одними губами. Мать кивнула, как будто услышала, и на её лице промелькнула тень улыбки - той самой, тёплой, которая всегда согревала Лиру. Но эта улыбка была другой. Она была прощанием.

«Сиди тихо», - прошептала мать. Голос ломался, как тонкая ветка под тяжестью снега. Каждое слово давалось с усилием, будто она говорила через боль, через спазм в горле, через тот комок, который душил её, рос и рос, не давая дышать. «Что бы ни случилось - не выходи. Не смотри. Не дыши».

Она схватила Лиру за руку. Пальцы матери впились в детское запястье с такой силой, что Лира почувствовала острую боль - будто вонзились иглы, будто впились когти. Хотелось отдернуть руку, но мать держала как стальной капкан, как тиски, из которых нельзя вырваться. Ногти впились в кожу, оставляя красные полумесяцы, которые потом превратятся в синяки. Она потащила Лиру к шкафу - старому, тёмному, с облупившейся краской и ржавыми петлями, скрипевшими при каждом открывании. Он пах нафталином и пылью - старой одеждой, которую мать берегла, но никогда не носила, потому что та была «на выход», или «на чёрный день», или просто напоминанием о другой жизни. Внутри было темно, как в колодце, - та глубокая плотная тьма, которую не разгоняет даже лунный свет, впитывающая в себя всё. Лира не хотела туда залезать. Чувствовала, что если войдёт в эту темноту, то не сможет выйти, что исчезнет, растворится, станет частью пыльной забытой вечности, что никогда больше не увидит света.

«Залезай, - прошипела мать, открывая дверцу. Слова вылетали быстро, сбивчиво, как птицы из горящего леса, как искры из костра, который вот - вот погаснет. - Залезай и не выходи. Не выходи, слышишь меня? Что бы ни услышала - не выходи. Даже если я позову. Даже если закричу. Ты не выходишь. Ждешь, пока я не приду за тобой. Ты поняла меня?»

Лира повиновалась. Залезла в шкаф, падая на колени, на грудку старого тряпья, пахнущего плесенью и временем: пальто, юбки, шали, которые мать когда - то носила, но которые теперь превратились в безликие комки ткани. Сердце колотилось где - то в горле, слёзы наворачивались на глаза, жгли их, как кислота, как огонь. Она обернулась, чтобы увидеть мать - в последний раз, хотя ещё не знала, что это последний раз. И увидела только полоску света - мать оставила маленькую щель между дверцами, чтобы можно было видеть. Одна дверца приоткрылась ровно настолько, чтобы в эту щель можно было заглянуть, но нельзя было пролезть.

Лира сидела в темноте, прижав колени к груди, и чувствовала, как внутри неё разрастается что - то огромное и холодное. Она не знала, что это такое, но чувствовала, как оно заполняет её, как вытесняет тепло, как делает её пустой. «Мама, - думала она, - мама, я боюсь. Я хочу, чтобы ты была рядом. Я хочу, чтобы ты обняла меня и сказала, что всё хорошо». Она сжала в руке камень, который висел у неё на шее, и почувствовала, как он пульсирует - ровно, спокойно, как будто пытался успокоить её. «Ты не одна, - шептал он ей. - Я здесь. Я всегда здесь». Она не знала, откуда берутся эти слова, но верила им, как верила матери. Она смотрела на полоску света, на мать, которая стояла на коленях перед шкафом, и пыталась запомнить каждую деталь: как падает свет на её лицо, как блещут слёзы на её щеках, как дрожат её руки. Она хотела запомнить её такой - живой, настоящей, любящей. Потому что где - то глубоко внутри, в той самой глубине, где жила интуиция, она знала: это может быть последний раз. Она смотрела на мать и прощалась - сама не зная с чем, сама не зная зачем.

Ли́ра смотре́ла на ма́ть че́рез эту щель, как че́рез за́мочную сква́жину в дру́гой ми́р. Ма́ть сто́яла на ко́ленях пе́ред ша́фом, ли́цо мо́крое от слё́з, теќших по ще́кам, не пе́ресыха́я, ка́павших на по́л, на пла́тье, на ру́ки, сме́шива́ясь с по́том и стра́хом. Гу́бы ше́велились бе́ззвучно, и Ли́ра про́читала по ни́м: «Я лю́блю те́бя». Три сло́ва, ко́торые ма́ть го́ворила ка́ждую но́чь пе́ред сном, при́вычные, как ды́хание. То́лько те́перь о́ни звуча́ли как про́щание. Ка́к по́следнее обе́щание. Ка́к то, что о́станется с не́й наве́гда, да́же ко́гда го́лос ма́тери смо́лкнет, ко́гда те́пло и́счезнет, ко́гда о́станется то́лько па́мять.

Ма́ть вста́ла. По́правила пла́тье, хо́тя о́но и та́к си́дело бе́зупре́чно, - де́лала э́то ау́томатиче́ски, ка́к пе́ред выхо́дом из до́ма, ка́к пе́ред встре́чей с кем - то ва́жным. По́пыта́лась улы́бнуться, но улы́бка вы́шла дрожа́щей, и́скривлё́нной, по́хожей на грима́су бо́ли, на ма́ску, ко́торая во́т - во́т тре́снет и осы́плется. При́глади́ла во́лосы, убрала́ прядь, упав́шую на ли́цо, и по́шла к де́вери. Ша́ги бы́ли не́ровными, подка́шива́ющимися - бу́дто о́на шла́ по то́нкому льду́, ко́торый во́т - во́т про́ломится, бу́дто по́л преврати́лся в зы́бучий пе́сок. Хо́телось ка́заться спо́койной, но ру́ки дрожа́ли та́к си́льно, что при́шлось сжа́ть их в ку́лаки, что́бы скры́ть дро́жь, и Ли́ра ви́дела, ка́к побеле́ли ко́стляшки, ка́к на́пряглись су́хожи́лия под то́нкой ко́жей.

О́на ви́дела, ка́к ма́ть подо́шла к вхо́дной де́вери. Ви́дела, ка́к остано́вилась пе́ред не́й на мгнове́ние, со́бираясь с ду́хом, вды́хая возду́х, ко́торый ка́зался гу́ще обы́чного, тя́желее, ка́к сви́нец. По́том откры́ла за́мок - ста́рый, ржа́вый, ко́торый все́гда за́едал, но се́йчас подда́лся с ле́гкостью, бу́дто кто - то сма́зал его́ изну́три, бу́дто са́ма су́дба откры́ла. И де́верь распахну́лась.

Уда́р в де́верь бы́л гро́мким. Тре́бовате́льным. Та́к сту́чат те, кто зна́ет, что их откро́ют. Те, кто при́вык, что пе́ред ни́ми распахива́ются все де́вери, да́же е́сли за ни́ми - стра́х и сме́рть. Те, для ко́го чу́жой поро́г - не пре́града, а при́глашение.

Ма́ть откры́ла.

В проё́ме сто́яли дво́е мужчи́н. Ли́ра ви́дела то́лько си́луэты в лу́нном све́те - вы́сокие, ши́рокие, запо́лняли ве́сь де́верной проё́м, ка́к ска́лы, пере́крыва́ющие го́ризонт, ка́к че́рные ба́шни, вы́росшие из ни́отку́да, ка́к ство́лы ве́ковых де́ревьев, ко́торые не́возмо́жно сдви́нуть. От ни́х па́хло по́том, ста́лью и че́м - то го́рьким, ме́талличе́ским, что Ли́ра не мо́гла распо́знать, но что сжи́мало же́лудок хо́лодной то́шнотой - за́пах же́леза и стра́ха, за́пах то́го, что ни́когда не вды́хала ра́ньше, но ко́торый мгнове́нно у́знала, ка́к у́знают го́лос сме́ртельной о́пасности. Оде́ты бы́ли во́ что - то те́мное, по́чти че́рное, сли́вавшее́ся с но́чью, и Ли́ра не ви́дела их ли́ц - то́лько те́ни, па́давшие на по́л и тя́нувшие́ся к не́й, к её ша́фу, к её убе́жищу, дли́нные и угрожа́ющие, ка́к па́льцы ве́ликана, ка́к шу́пальца чу́дови́ща из са́мых стра́шных снов.

«Где ка́мень?» - спроси́л пе́рвый го́лос. Хо́лодный, ка́к ста́ль, ка́к ле́звие но́жа, то́лько что вы́нутое из но́жен, ка́к ле́д, ко́торый не та́ет да́же под со́лнцем. В не́м не бы́ло эмо́ций - ни гнева́, ни ра́дости, ни любопы́тства. Го́лос маши́ны, зада́ющей во́прос, на ко́торый у́же зна́ет отве́т, и про́сто прове́ряющей, совпа́дут ли ци́фры. Бе́з зло́бы, бе́з я́рости, бе́з удо́влетворе́ния. То́лько ле́дяная, бе́зразли́чная уве́ренность в сво́ей пра́воте и в то́м, что отве́т бу́дет полу́чен, да́же е́сли для э́того при́де́тся пере́вернуть ве́сь до́м ве́рх дном, разо́брать по брё́внам и сже́чь до́тла.

Ма́ть мо́лчала. Сто́яла на поро́ге, не отсту́пая ни на ша́г, не про́пуская их вну́трь. Ма́ленькая, хрупка́я, с кра́сными ру́ками и бле́дным ли́цом, но сто́яла пря́мо - ка́к бе́рё́за, ко́торую ве́тер гнё́т, но не ло́мает, ка́к све́ча, го́рящая до по́следнего, да́же ко́гда во́круг ть́ма. За́горажива́ла про́ход, ка́к ши́т, ка́к сте́на, ко́торую не́льзя сло́мать, - то́нкая, но несо́круши́мая. Ру́ки всё е́щё дрожа́ли, но о́на сжа́ла их в ку́лаки и при́жала к гру́ди, сло́вно пы́таясь упо́коить со́бственное се́рдце, сло́вно пы́таясь да́ть се́бе си́л не упа́сть.

«Не при́творя́йся, - сказа́л вто́рой го́лос. Скри́пучий, ка́к ржа́вое же́лезо, ка́к пе́тля, ко́торая не за́крыва́ется, ка́к ста́рое ко́лесо, ко́торому ну́жна сма́зка, ка́к де́верь, ко́торая ни́когда не откры́вается бе́з скри́па. - Мы зна́ем, что он зде́сь. Э́лиас отдал его́ те́бе. То́лько ты зна́ешь, где он. Ска́жи - и мы уйде́м. Не тро́нем те́бя. Ни́кого не тро́нем. На́м ну́жен то́лько ка́мень. Не хо́тим кро́ви. Не хо́тим сме́рти. Хо́тим то́лько то, что при́надле́жит на́м по пра́ву».

Элиас. Имя отца.

Лира услышала это имя впервые за долгие годы. Оно ударило как пощёчина, как удар в солнечное сплетение, как холодная вода, которую выливают на спящего. Сердце сжалось, и грудь сдавило невидимым обручем, становившимся всё туже, не давая дышать. Ей хотелось выйти из шкафа, увидеть этих людей, спросить у них, где отец, почему они знают его имя, что они сделали с ним, что за камень ищут, почему мать никогда не рассказывала об этом. Но она помнила слова матери: «Не выходи». И сидела в темноте, прикусив губу до крови, чтобы не закричать, чтобы не издать ни звука, чтобы быть невидимкой, которой её хотела видеть мать.

И в этот момент, когда страх достиг своего пика, когда воздух в шкафу стал густым и тяжёлым, Лира услышала голос. Он был тихим, почти шёпотом, но она узнала его сразу - хотя никогда не слышала его раньше. «Держись, - сказал голос. - Не бойся. Я с тобой». Это был голос мужчины, тёплый и глубокий, как далёкий гром, как шум реки в весеннее половодье. Он шёл откуда - то изнутри, из самого центра её существа, из того места, где билось её сердце и пульсировал камень на шее. Лира не знала, кто это. Но она знала, что это голос отца. Она чувствовала это каждой клеткой тела, каждой частицей своей души. Она сжала камень в руке и прошептала в ответ: «Я не боюсь. Я не боюсь, папа». И камень пульсировал в такт с её сердцем, как будто подтверждая, что он слышит, что он рядом, что он никогда не оставит её одну.

«У нас ничего нет, - сказала мать. Голос дрожал, но звучал твёрдо, как натянутая струна, готовая лопнуть, но пока ещё целая. - Мы обычные люди. Простые. У нас нет камней, нет драгоценностей, нет ничего, что могло бы вас заинтересовать. Оставьте нас. Прошу вас. Ради бога, оставьте нас в покое».

И тут она сделала то, чего Лира никогда не видела. Упала на колени перед этими людьми в чёрном, на колющий холодный пол, который никогда не был тёплым даже летом, и плечи затряслись от рыданий - глубоких, разрывающих, как звериный вой, как крик раненого зверя. Она плакала. Лира никогда не видела мать плачущей. Мать всегда улыбалась, всегда была сильной, всегда говорила, что всё будет хорошо, что завтра будет лучше, что дождь кончится и выглянет солнце, что голод пройдёт и на столе снова появится хлеб. А теперь лежала на полу, закрывая лицо руками, и из неё вырывались всхлипы, бившиеся о стены и возвращавшиеся эхом, усиливаясь и разрастаясь, будто плакал весь дом, будто плакала сама земля под ним.

«У неё ничего нет, - рыдала мать. - Она обычная. Ничего не знает. Просто ребёнок, маленькая девочка, спящая в своей кровати. Оставьте нас. Ради бога, оставьте нас. Она просто ребёнок. Ничего не видела, ничего не слышала, ничего не знает о ваших камнях и ваших войнах».

В комнате повисла тишина. Долгая, тягучая, тяжёлая, как свинцовое одеяло, накрывшее всех, как слой бетона, лежащий на груди. Напряжение повисло в воздухе, как перед грозой, - воздух стал густым и тяжёлым, нечем дышать, и казалось, вот - вот ударит молния, и мир расколется надвое. Сердце билось гулко, как набат, отдаваясь в ушах, в висках, в каждом сосуде. Мать всхлипывала, дыхание сбивалось, она пыталась взять себя в руки, пыталась перестать плакать, но не могла. Один из мужчин вздохнул - глубокий, усталый вздох человека, делающего работу, которую ненавидит, но не может остановиться, уставшего от этой жизни, но не знающего, как из неё выйти, убивающего не потому, что хочет, а потому, что так надо.

А потом раздался удар.

Тяжёлый, глухой звук. Что - то упало на пол - тяжёлое, бесформенное, как мешок с картошкой, как сброшенная кукла. Сквозь щель Лира видела, как мать, только что стоявшая на коленях, рухнула вперёд, как кукла, у которой перерезали нитки, как марионетка, которую бросил кукловод. Тело ударилось о деревянный пол с глухим, мокрым звуком - звуком, которого она никогда не слышала раньше, но который мгновенно узнала, как узнают голос смерти. Голова матери ударилась о доски - раз, второй, третий - и затихла. Руки безвольно распластались на полу, пальцы, только что державшие за плечи, застыли в последнем, безнадежном

жесте - открытые и пустые. Мать лежала неподвижно, и из - под неё медленно, почти неохотно, стала расплзаться тёмная, чернильная лужа, в лунном свете казавшаяся почти чёрной, маслянистой, как нефть, как смола, как сама ночь. Она росла, расплзалась по щелям между досками, впитывалась в дерево, оставляя тёмное, навечно пятно, которое не смоет ни одна стирка.

Лира смотрела на это и не могла дышать. Она смотрела на мать, лежащую на полу, и не верила своим глазам. Она ждала, что мать встанет, улыбнётся, скажет: «Всё хорошо, доченька. Это просто сон». Она ждала этого так сильно, что её сердце билось в унисон с этим ожиданием, что каждая клетка её тела кричала: «Встань! Встань, пожалуйста!» Но мать не вставала. Она лежала неподвижно, и тёмная лужа под ней становилась всё больше, всё чернее, всё страшнее. Лира смотрела на мать, на её руки, на её лицо, на её открытые глаза, которые смотрели в потолок, и чувствовала, как внутри неё что - то ломается. Что - то важное, что - то, что держало её в этом мире, что - то, что делало её живой. Она сжала камень в руке и прошептала: «Мама... мама, не уходи. Я не хочу одна. Я не хочу, чтобы ты уходила». Но мать не ответила. Только тишина, только холод, только запах крови, который заполнял комнату, как туман, как дым, как смерть.

И в этой тишине, в этой темноте, в этом шкафу сидела маленькая девочка, смотревшая на мать, лежащую на полу, и не понимавшая, что произошло. Ждала, что мать встанет, улыбнётся и скажет: «Всё хорошо». Не знала, что это последний раз, когда видит её живой. Не знала, что её жизнь только начинается - начинается с этой секунды, с этого шкафа, с этой чернильной лужи на полу.

Она сидела в темноте и смотрела на свет. И ждала.

ГЛАВА 3: Рука

Шаги. Тяжёлые. Медленные. Они приближаются к шкафу.

Лира слышит каждый из них с пугающей чёткостью. Каждый удар подошвы о деревянный пол отдаётся в груди глухой вибрацией, разносится по позвоночнику, добирается до затылка, заставляя мелко дрожать каждый нерв, каждое окончание. Звук приближается - неумолимо, ритмично, как удары колокола, как шаги палача, идущего к эшафоту. Тело сжимается в углу, в самом дальнем углу шкафа, вдавливаясь спиной в шершавое дерево задней стенки. Старое пальто, висящее над головой, касается пыльным рукавом, и в нос ударяет запах нафталина, пыли и затхлости - запах вещей, которые давно забыли, что такое свет. Пытается стать маленькой, незаметной, раствориться в этой темноте, стать тенью среди теней, частью дерева, частью пыли, частью тишины, которая теперь стала единственным союзником.

«Меня здесь нет, - думала она, зажмурившись так сильно, что перед глазами заплескали разноцветные пятна. - Я сплю. Это просто сон. Страшный, плохой сон. Я проснусь, и мама будет рядом. Она обнимет меня и скажет, что всё хорошо. Она всегда так говорит. Она всегда приходит, когда мне страшно. Она придёт и сейчас. Я просто должна подождать. Я должна быть тихой. Я должна быть незаметной. Если я буду совсем - совсем тихой, они не найдут меня. Они уйдут. И мама придёт. Она обязательно придёт». Она повторяла это снова и снова, как колыбельную, как ту самую песню, которую мать пела ей по вечерам. Но внутри, где - то глубоко, в том месте, которое она не могла объяснить, она знала, что мама не придёт. Она видела, как мама упала. Видела, как кровь расплзалась по полу. Видела, как мамины руки застыли. Но она не хотела в это верить. Не могла. Это было слишком страшно. Слишком больно. Слишком неправильно.

Тело дрожит - мелкая, нервная дрожь, которую нельзя контролировать. Она идёт изнутри, из самого центра существа, из того места, где раньше жил страх, а теперь живёт только ледяная пустота. Мышцы напряжены до предела, до боли, до судорог, скручивающих икры и бёдра. Губа прикушена так сильно, что на языке чувствуется металлический привкус крови, и это помогает не закричать, не издать ни звука.

Дышать нельзя. Воздух застревает в горле, как камень, как комок ваты, не пропускающий кислород. Лёгкие горят от напряжения, в груди разрастается жгучая боль, но вдох сделать нельзя. Нельзя моргать. Глаза высохли, слёзы застыли в них, как тонкая ледяная корка, и каждое мгновение, когда веки не опускаются, превращается в вечность. Страх, что если моргнуть, если движение века выдаст, - та рука, та страшная, чужая рука, которая уже почти коснулась дверцы, - схватит, вытащит из этого единственного убежища, которое осталось. Страх, что дыхание, пульс, жизнь станут слышны тем, кто стоит за дверцей.

Взгляд устремлён на щель - на ту узкую, почти незаметную полоску света, пробивающуюся между дверцами шкафа. Знакома каждая деталь этой полоски: как свет падает на старые доски пола, как выхватывает из темноты пылинки, танцующие в нём, как отражается от металлического края старого стула в углу. Эта полоска - единственная связь с миром снаружи, последняя ниточка к реальности, существовавшей до того, как всё рухнуло. И в этом свете видна тень - длинная, чёрная, движущаяся. Тень приближается, становится больше, плотнее, заслоняет собой всё. Заливает полоску света, делает её уже, темнее, почти исчезающей.

Шаги становятся громче, тяжелее, и каждый из них - как удар молота, как глухой ритмичный стук, отдающийся в голове, в позвоночнике, в каждой косточке. Доски крыльца стонут под чужим весом - тот самый скрип, который Лира знала с детства, который был голосом её дома. Но сейчас он звучит иначе - как стон, как предсмертный хрип, как плач старого дерева, знающего, что сейчас случится что - то непоправимое.

Шаги останавливаются. Прямо перед шкафом.

Воздух вокруг становится тяжелее, будто кто - то сжал пространство, будто сама темнота стала плотнее, почти осязаемой. Чувствуется его присутствие за дверцей - большое, тяжёлое, чужое. Оно заполняет собой всё пространство комнаты, просачивается сквозь щели, проникает в каждую трещину в дереве. Слышно сердце. Оно бьётся так громко, что, кажется, его слышно за пределами шкафа, что этот человек, этот убийца обязательно услышит, поймёт, что она здесь. Пытается унять сердцебиение, прижать руку к груди, но рука не слушается. Всё тело онемело, превратилось в статую, в камень, в соляной столб, который не может пошевелиться. Ноги затекли, спина одеревенела, пальцы судорожно вцепились в край старого пальто, лежащего под ней, будто эта ткань могла спасти, стать щитом.

И в этот момент, когда страх сжал горло так сильно, что дышать стало почти невозможно, Лира вдруг увидела мамино лицо. Оно появилось перед глазами, как будто мама стояла прямо перед ней, как будто она была здесь, в этом шкафу, рядом с ней. Мама улыбалась - не так, как улыбалась перед теми страшными людьми, а по - настоящему, как улыбалась по утрам, когда они сидели на крыльце и слушали птиц. «Ты моя хорошая, - сказала мама. - Ты моя смелая девочка. Ты справишься». Лира хотела ответить, хотела сказать: «Мама, я боюсь. Я так боюсь. Пожалуйста, не уходи. Пожалуйста, возьми меня с собой». Но слова застряли в горле. Она только смотрела на мамино лицо и чувствовала, как внутри неё разливается что - то тёплое. Не страх. Что - то другое. Что - то, что говорило: «Держись. Ты не одна. Я с тобой». И хотя лицо исчезло так же внезапно, как появилось, тепло осталось. Маленькое, слабое, но живое.

Рука.

Она появляется в полоске света, как призрак, как нечто, что не должно существовать в этом мире, но существует, заняв собой всё пространство. Огромная рука. Взрослая. Чужая. Заполняет собой весь свет, оставляя только контуры - тёмные, страшные, неподвижные.

Лира смотрела на эту руку и чувствовала, как внутри неё всё сжимается. Она никогда не видела таких рук - больших, грубых, покрытых шрамами и трещинами. Мамины руки были красными и шершавыми от работы, но они были тёплыми и добрыми. А эта рука была другой. Она была холодной, как камень на дне реки, как лёд зимой. Она была страшной. Лира смотрела на неё и чувствовала, как в груди разрастается ледяной ком. Она хотела закрыть глаза, спрятаться, исчезнуть, но не могла. Она смотрела, как замороженная, и запоминала каждую

деталь. Жёлтые ногти с чёрной грязью под ними. Шрамы на пальцах, похожие на трещины в земле. Татуировку змеи, обвивающей запястье. Она не знала, зачем запоминает всё это, но чувствовала: это важно. Это останется с ней навсегда.

Пальцы - толстые, сильные, с жёлтыми ногтями, пожелтевшими от табака и времени. Цвет их напоминает старую слоновую кость или пожелтевшие страницы книги, которую никто не открывал десятилетиями. Под каждым ногтем - чёрная каёмка грязи, въевшаяся, забившаяся так глубоко, что её уже невозможно отмыть. Следы работы, которую Лира не может даже представить, но которая оставила на этих пальцах свои неизгладимые отметины. Ногти неровные, обкусанные, с заусенцами, торчащими в стороны, как мелкие колючки, как шипы. Один из них сломан почти до основания, и на его месте видна неровная красная кожа, ещё не успевшая зажить.

Кожа на пальцах грубая, огрубевшая, покрытая глубокими трещинами, в которых забилась грязь - чёрная, плотная, въевшаяся в каждую складочку, в каждую морщину. Эти трещины пересекают кожу, как сухая растрескавшаяся земля, как потрескавшаяся глина на дне пересохшего озера. Они идут вдоль суставов, поперёк фаланг, расходятся мелкими паутинками от основания ногтей к середине пальца. В некоторых местах кожа шелушится, отслаивается мелкими чешуйками, и под ней видна бледная, почти белая новая кожа, ещё не успевшая огрубеть и потрескаться - розоватая, тонкая, похожая на кожу младенца. Рядом с ней - старые мозоли, жёлтые и твёрдые, как наросты на коре старого дерева.

На каждом пальце - шрамы. Тонкие белые линии, пересекающие суставы, царапины, когда - то зажившие, но оставившие следы. На большом пальце, у основания ногтя, - глубокий старый шрам, похожий на кривую молнию, с неровными рваными краями. Начинается у самого ногтевого ложа и уходит под кожу, теряясь в складках. На указательном - несколько мелких, почти неразличимых, как паутина, тонких нитей, пересекающих фалангу в разных направлениях. На среднем - тёмное пятно, похожее на ожог, с неровными краями, размером с монету, бледное в центре и тёмное по краям. Эти шрамы рассказывают историю, которую Лира не может прочесть, но которая пугает ещё больше, чем сама рука.

Пальцы хватают край дверцы. Сжимают дерево так, что оно трещит, издавая тот самый звук, который Лира знает с детства, - скрип старого сухого дерева, не выдерживающего давления. Но сейчас этот звук звучит иначе - как предупреждение, как стон, как последний вздох чего - то, что вот - вот сломается. Дерево скрипит, трещит, жалуется, но пальцы не отпускают. Костяшки белеют от напряжения, кожа на них натягивается до предела, становится почти прозрачной, и видны перекатывающиеся под ней сухожилия - толстые, белые, похожие на верёвки. Двигаются, как живые змеи, как провода, по которым передаётся сила. Вены вздуваются, становятся синими, почти чёрными, и видны их извилистые линии - как реки на карте, как кровеносные русла, по которым течёт чужая, страшная жизнь.

На запястье - татуировка. Змея, кусающая собственный хвост. Сделана чёрными тонкими линиями, которые, кажется, вот - вот растворятся в коже, но остаются, врезаются в неё, как клеймо. Голова змеи - маленькая, с двумя чёрными точками вместо глаз, с раздвоенным язычком, касающимся хвоста. Челюсти сомкнуты на хвосте, и хвост исчезает в пасти, создавая вечный замкнутый круг - символ бесконечности, символ того, что нельзя разорвать. Тело змеи обвивает запястье трижды, и каждый виток переплетается с другим, как узор, как вязь. Чешуя прорисована с пугающей тщательностью - каждая чешуйка, каждая линия, каждый изгиб. Под татуировкой кожа бледнее, чем вокруг, будто рисунок впитался в неё, стал её частью, проник в самые глубокие слои. Лире кажется, что змея шевелится, медленно ползёт по запястью, смотрит на неё пустыми чёрными глазами - точками и ждёт.

Пальцы сжимают дверцу сильнее. Дерево стонет. Слышно, как скрипят ржавые петли, как сопротивляются, как старый больной дом пытается защитить её, но не может. Рука тянет дверцу на себя, и щель становится шире. Свет проникает внутрь, заполняя шкаф, заливая

его золотым, тёплым, страшным светом. Лира видит этот свет, и он ослепляет, как удар, как вспышка, как молния, ударившая слишком близко. Полоса света разрезает темноту шкафа, как лезвие, как нож, как границу между жизнью и смертью.

И в этой полосе - рука. Только рука. Кисть, пальцы, ногти, татуировка. Рука, держащая дверцу, которая может открыть её полностью в любой момент, схватить, вытащить из этого шкафа, как вытаскивают ненужную вещь, как выбрасывают мусор.

Лира смотрит на эту руку. Лица, стоящего за ней, не видно. Глаз, смотрящих сквозь щель, не видно. Но чувствуются они. Чувствуется этот взгляд - холодный, липкий, изучающий. Скользит по ней, как сканер, считывая каждую деталь: возраст, испуг, беспомощность. Проникает под кожу, остаётся там, впитывается в кровь. Чувствуется, как этот взгляд раздевает до костей, до самого нутра, до той маленькой девочки, которая ещё недавно верила, что мама защитит её от всего мира.

Запоминается всё. Каждый изгиб пальцев, каждая трещина на коже, каждый шрам, каждая линия татуировки. Запоминается, как падает свет на костяшки, как тень от пальцев ложится на дерево дверцы. Знает, что этот образ врежется в память, как раскалённое железо, как клеймо, как знак, который нельзя стереть, как проклятие, которое будет носить до конца жизни. Знает, что будет помнить эту руку всегда. Через год, через пять лет, через десять, через двадцать - будет видеть в кошмарах, просыпаться с криком и чувствовать эти пальцы у горла. Будет видеть эту змею, кусающую собственный хвост, на коже незнакомцев, и каждый раз сердце будет сжиматься от ледяного ужаса.

Мгновение длится вечность.

Секунда растягивается, как резина, которую вот - вот порвут. Чувствуется, как время останавливается, мир замирает, всё вокруг перестаёт существовать. Нет больше дома, нет реки, нет утра, нет птиц. Только она, шкаф, свет, рука. Только этот взгляд, давящий, как тонна бетона, как огромный камень на груди, не дающий дышать. Пошевелиться нельзя - хоть пальцем, хоть ресницей, хоть губами. Тело не слушается. Мышцы парализованы страхом. Закричать нельзя - горло сжато, будто невидимой рукой. Ни звука. Парализована - не страхом, а чем - то более глубоким, более первобытным. Замерла, как животное, чувствующее, что его заметил хищник, и понимающее, что бежать уже поздно.

Рука не двигается. Пальцы сжимают дверцу с той же силой, с той же неподвижностью. Просто держат, как держат дверь, за которой прячется добыча. Ждут. Лира не знает, чего. Может быть, когда девочка закричит, выдаст себя. Может быть, наслаждаются моментом - моментом власти, моментом страха. Может быть, просто решают, жить этой девочке или умереть.

Лира сидела в темноте и чувствовала, как по щекам текут слёзы - горячие, солёные, бесконечные. Она не знала, плачет ли она от страха или от того, что мама больше не придёт. Она сжала камень в руке и прошептала, сама не зная кому: «Я не хочу, чтобы меня нашли. Я хочу к маме. Я хочу домой. Я хочу, чтобы всё было как раньше». Она повторяла это снова и снова, как будто слова могли вернуть прошлое, как будто они могли воскресить мать, как будто они могли стереть этот кошмар. Но слова не возвращали прошлое. Они только звучали в тишине, пустые и беспомощные, как она сама. «Мама, - шептала она, - мама, я боюсь. Я так боюсь. Пожалуйста, приди. Пожалуйста, скажи мне, что всё хорошо». Но мать не приходила. Только тишина. Только холод, который пробирался под кожу. Только стук собственного сердца, который становился всё громче, всё настойчивее.

А потом - шум.

Снаружи кто - то кричит. Громко. Резко. Панически. Голос срывается на высокой ноте, в нём слышен ужас, который не подделать. Этот крик прорезает тишину, как нож, как сирена, как предупреждение о пожаре. Отчаяние, страх, паника - всё то, что Лира чувствует внутри, но не может выразить.

«Уходим! Сейчас! Их кто - то ведёт!»

Рука дёргается. Пальцы разжимаются, отпуская край дверцы, будто обожглись. Дверца захлопывается с глухим стуком, отдающимся в ушах звоном, разносится по всему дому, как выстрел. Свет исчезает, и шкаф снова погружается в темноту - в ту плотную, густую, почти осязаемую темноту, которая была единственным убежищем.

Шаги. Быстрые. Тяжёлые. Удаляются от шкафа, становятся тише, глуше, пока не исчезают совсем. Голоса - два голоса, спорящих, перебивающих друг друга, - тоже удаляются, смешиваются в неразборчивый гул, теряются в шуме ветра и плеска воды. Хлопок двери - громкий, резкий, как выстрел, - разносится по дому, заставляя стены дрожать. Топот по траве - сначала громкий, потом быстро затихающий, уходящий в ночь, как вода, стекающая в песок.

Тишина.

Глубокая, абсолютная тишина, давящая на уши, как вата, как вода, как слой земли, засыпающий живьём. Тишина, наступившая после того, как ушли люди в чёрном, после того, как рука отпустила дверцу, после того, как чей - то крик спас ей жизнь. Тишина, ставшая единственной спутницей, тюремщиком, судьбой.

Лира сидит в темноте. Не дышит. Смотрит на дверцу шкафа, на тонкую деревянную преграду, отделяющую её от мира, где лежит мать. Помнит руку. Будет помнить всегда. Татуировку змеи, кусающей собственный хвост. Жёлтые ногти с чёрными каёмками. Шрамы и трещины на коже. Мозоли и ожоги. Каждую деталь, каждую линию, каждый изгиб змеиного тела, каждый шрам на костяшках. Этот образ врезался в неё, как клеймо, как проклятие, которое будет носить до самой смерти.

Не знает, почему рука ушла. Почему не открыла дверцу до конца. Почему не схватила, не вытащила из шкафа, как делают с ненужными вещами. Не знает, что чей - то крик спас ей жизнь. Не знает, что тот, кто кричал, был напарником убийц, заметившим приближение других людей. Не знает, что соседи уже идут к их дому, что увидят тело матери, что найдут её, замёрзшую и обезумевшую от страха. Ничего не знает.

Просто сидит в темноте, сжавшись в комок, и чувствует, как внутри разрастается пустота. Страх уходит, оставляя ледяную бесконечную пустоту. Считает. До ста. До двухсот. До трёхсот. Сбивается, начинает сначала. Цифры путаются в голове, как осенние листья на ветру. Не знает, зачем. Может быть, это способ не думать. Может быть, способ не слышать тишины, заполнившей дом. Может быть, способ не осознавать, что мать больше не позовёт.

Не выходит.

Ждёт. Ждёт, когда мать откроет дверцу. Ждёт, когда мать скажет: «Всё хорошо, выходи, всё уже закончилось». Ждёт, когда мать улыбнётся своей тёплой улыбкой, способной растопить любой страх. Ждёт так сильно, что каждую секунду тело напрягается в ожидании, как струна, готовая лопнуть. Вслушивается в тишину, пытаюсь уловить знакомый голос, знакомые шаги, знакомый скрип половиц. Ждёт так долго, что время теряет смысл.

Но мать не приходит.

Лира сидела в темноте и тихо плакала. Слёзы текли по щекам, и она не вытирала их - у неё не было сил. Она сжимала камень в руке и думала о маме. О том, как мама улыбалась по утрам. О том, как мама гладила её по голове перед сном. О том, как мама пахла - рекой, мылом и тёплым хлебом. Она закрыла глаза и попыталась представить, что мама рядом. Что она сидит рядом со шкафом и ждёт, когда Лира выйдет. Что она скажет: «Всё хорошо, доченька. Я здесь. Я всегда здесь». Лира так сильно хотела в это верить, что почти слышала мамин голос. Почти чувствовала мамино тепло. Но когда она открывала глаза, вокруг была только темнота. Только холод. Только тишина, в которой никто не дышал. «Мама, - прошептала она, - мама, я не хочу одна. Я хочу к тебе. Я хочу домой. Я хочу, чтобы ты обняла меня. Я хочу, чтобы ты сказала, что всё будет хорошо». Она ждала ответа. Она ждала так долго, что перестала чувствовать время. Но мама не отвечала. Только тишина. Только стук собственного сердца. И она поняла -

не умом, а всем своим маленьким телом, каждой клеточкой, каждой каплей крови, - что мама не придёт. Что мама не встанет. Что мама ушла навсегда, как ушёл отец, которого она никогда не видела. Она не знала, что это называется. Она знала только одно: мамы больше нет. И она осталась одна. Совсем одна. Она сжала камень в руке и прошептала в темноту, сама не зная кому: «Я не хочу одна. Я хочу, чтобы кто -нибудь пришёл. Я хочу, чтобы меня нашли. Я хочу, чтобы всё это кончилось. Пожалуйста... пусть кто -нибудь придёт». Она не знала, что кто -то уже идёт. Она не знала, что скоро дверь откроется и в комнату ворвётся свет. Она просто сидела в темноте, сжимала камень и ждала. Ждала, сама не зная чего.

Только тишина. Только стук собственного сердца. И память о руке - той, что врезалась в сознание, как клеймо, как проклятие, как обещание того, что этот мир никогда не будет безопасным, что никогда не сможет спрятаться, что её всегда найдут.

Сидит в темноте шкафа, маленькая девочка, и ждёт. Ждёт чуда, которого не случится. Ждёт матери, которая не придёт. Ждёт, когда закончится этот кошмар.

Но он только начинается.

ГЛАВА 4: Тишина

Темнота. Густая, непроглядная, как чёрная вода, как смола, как та глубина, куда не проникает ни один луч света. Обволакивает, сжимает со всех сторон, проникает в лёгкие, в сердце, в каждую клеточку маленького тела, заполняет собой всё пространство, не оставляя места ни для чего другого. Только собственное дыхание нарушает эту абсолютную, давящую тишину - прерывистое, частое, как у загнанного зверька. Только стук сердца, который, кажется, слышен во всём доме - глухой, частый, как барабанная дробь, как набат, как колокол, звенящий сам по себе, без звонаря.

Ждёт. Не знает, чего именно, но ждёт. Когда мать позовёт. Когда скажет: «Всё хорошо, выходи». Когда улыбнётся своей тёплой, доброй улыбкой, способной растопить любой страх. Когда возьмёт на руки и унесёт из этого шкафа, из этой темноты, из этого страха, прижмёт к груди и скажет, что всё уже позади, что они снова вместе и никто их не разлучит.

Но мать не зовёт.

Лира слышит, как за окном поют птицы. Их голоса звонкие, радостные, совсем не похожие на то, что происходит внутри дома. Щебечут, перекликаются, выводят утренние трели, будто мир снаружи не знает, что внутри этого маленького деревянного дома всё рухнуло, что там, за тонкими стенами, только что случилось что - то непоправимое. Ветер шевелит ветки старых ив, они скребут по стеклу тонкими сухими пальцами, листья шуршат, перешёптываясь о чём - то своём. Вода плещется о берег - река продолжает вечную песню, не останавливаясь, не оглядываясь на маленькую девочку, спрятавшуюся в деревянном ящике. Где - то вдалеке лает собака, и лай кажется таким далёким, таким чужим, будто доносится из другого мира. Мир снаружи продолжает жить. Мир снаружи не знает, что внутри этого дома всё рухнуло.

Но внутри дома - тишина.

Глубокая, абсолютная тишина, давящая на уши, как толща воды на глубине, как слой земли, засыпающий живьём. Тишина, в которой нет ни шагов, ни дыхания, ни голоса матери. Только стук собственного сердца, только собственное дыхание, становящееся всё более прерывистым, всё более частым. Тишина, заполняющая каждую щель, каждую трещину в стенах, каждую пору в дереве. Тишина, проникающая в лёгкие, сжимающая их, не дающая дышать полной грудью.

«Мама, - думала она, прижимая колени к груди и сжимая камень в руке. - Мама, почему ты молчишь? Почему ты не зовёшь меня? Я здесь. Я в шкафу. Я жду. Я тихая, как ты просила. Я не выхожу. Я не плачу. Я не дышу громко. Я делаю всё, как ты сказала. Почему ты не приходишь?» Она ждала ответа, но ответа не было. Она пыталась представить, что мама просто проверяет, слушается ли она. Что мама хочет убедиться, что она умеет ждать. «Я умею ждать, - шептала она про себя. - Я умею ждать очень долго. Я буду ждать столько, сколько нужно.

Я не выйду, пока ты не скажешь. Только скажи мне, что ты здесь. Только скажи мне, что всё хорошо». Но мама не говорила. Только тишина. Только холод, который пробирался под кожу, заполняя всё внутри, вытесняя тепло, оставляя только пустоту и страх.

Считает. Сначала до ста. Сбивается на сорок четвёртом - слёзы застилают глаза, делают всё расплывчатым и нечётким. Начинает сначала, шепча числа в темноту, как молитву, как заклинание, которое должно вернуть всё на свои места. Потом до двухсот. Сбивается на сто восемьдесят третьем - слышит, как скрипят половицы в соседней комнате, замирает, прислушиваясь, но это просто старый дом оседает, как всегда. Потом до трёхсот. Сбивается на двести сорок седьмом - слёзы снова застилают глаза, цифры путаются в голове, как осенние листья на ветру. Начинает сначала. Считает, чтобы не думать. Чтобы не слышать той тишины, заполнившей дом. Чтобы не понимать, что случилось что - то страшное, что - то, что нельзя исправить.

Считает до тысячи. Потом до двух тысяч. Потом сбивается, теряет нить и начинает заново.

Потом перестаёт считать.

Проходило время. Лира не знала, сколько. Может быть, час. Может быть, целая вечность. Она чувствовала, как в животе начинается голод - тот самый, привычный, который она знала с детства, когда хлеба было мало, а есть хотелось всегда. Но этот голод был другим. Он был пустым и холодным, как и всё вокруг. Она не хотела есть. Она хотела только одного - чтобы мама пришла. Чтобы мама открыла дверцу шкафа, протянула руки и сказала: «Всё хорошо, доченька. Пойдём, я испеку тебе хлеб». Она закрыла глаза и попыталась представить запах свежего хлеба, но вместо него в носу стоял другой запах - тот самый, который она не могла забыть. Запах крови. Запах того красного, что расплзлось по полу. Она открыла глаза и уставилась в темноту, пытаясь прогнать это видение. Но оно не уходило.

Время теряет смысл. Перестаёт существовать как понятие, как последовательность мгновений. Просто течёт мимо, как вода за окном, как река, которая никогда не останавливается. Не знает, сколько прошло - час, два, целая ночь. Солнце начинает подниматься, слабый серый свет пробивается сквозь щели в старых ставнях, сквозь тонкие занавески. Видна полоска света, падающая на пол, на пыльные доски, на босые ноги, торчащие из - под старого пальто. Свет становится ярче, теплее, золотистее, ползёт по комнате, заливая её собой. Утро наступает. А мать всё не зовёт.

Дверца толкается.

Дерево скрипит - жалобно, протяжно, как живое существо, тоже боящееся того, что ждёт снаружи. Ржавые петли сопротивляются, не поддаются, и Лире приходится толкнуть сильнее, приложив все детские силы. Выползает из шкафа, опираясь на руки, чувствуя, как каждая мышца ноет от долгого неподвижного сидения, как суставы хрустят от напряжения. Тело дрожит. Ноги не слушаются, подкашиваются, и падает на колени, больно ударяясь о деревянный пол - но боли не чувствует. Вообще ничего не чувствует, кроме той пустоты, разливающейся внутри, растущей с каждой минутой, как чёрная дыра, затягивающая всё в себя.

Голова поднимается.

Мать лежит на полу.

Лежит на спине, раскинув руки в стороны, как кукла, у которой перерезали нитки, как марионетка, брошенная кукловодом. Платье сбилось, смялось, волосы, всегда аккуратно убранные в узел, рассыпались по полу тёмной всклокоченной волной. Лицо серое, землистое, безжизненное - не того оттенка, что бывает у спящего человека, а того, что бывает у тех, кто уже никогда не проснётся. Губы синие, почти чёрные, из уголка рта течёт тонкая струйка запёкшейся крови, уже засохшей, превратившейся в тёмную корку. Глаза открыты. Смотрят в потолок, на старую деревянную балку, которую мать всегда собиралась покрасить, но так и не собралась, всё откладывала на завтра, которое так и не наступило.

Ли́ра смотрит на мать и не понимает. Она смотрит на её открытые глаза и ждёт, что они моргнут. Она смотрит на её грудь и ждёт, что она поднимется от дыхания. Она смотрит на её руки и ждёт, что они шевельнутся. Она смотрит и ждёт, ждёт, ждёт. Но мать не дышит. Не моргает. Не шевелится. Она просто лежит, как лежала, когда Ли́ра видела её в последний раз через щель шкафа. Только теперь рядом нет тех страшных людей. Только она и мать. И тишина.

Ли́ра медленно, очень медленно подползла к матери на коленях. Она не знала, зачем. Просто хотела быть ближе. Хотела, чтобы мама почувствовала, что она рядом. Она протянула руку и коснулась маминой щеки. Кожа была холодной. Такой холодной, какой не бывает даже у самой холодной воды в реке зимой. Ли́ра отдернула руку, как от огня, но потом снова протянула её. Она коснулась маминого лба, маминых губ, маминых закрытых глаз - хотя они не были закрыты. Она гладила мамино лицо, как мама гладила её, когда она болела или плакала. «Мама, - прошептала она, - мама, ты холодная. Ты замёрзла. Я согрею тебя. Я принесу одеяло. Я принесу тёплое молоко. Ты только встань. Ты только открой глаза. Пожалуйста». Но мать не отвечала. Только холод. Только тишина. Только запах крови, который ввёлся в деревянный пол.

Ли́ра подходит. Двигается медленно, как во сне, будто ноги погружены в густую тягучую грязь. Каждый шаг даётся с трудом. Опускается на колени рядом с матерью - доски снова скрипят под весом, издавая тот самый знакомый звук, который знала с пелёнок, который теперь звучит как плач, как стон самого дома. Рука тянется. Пальцы касаются руки матери. Холодная. Ледяная, мёртвая холодность, пробирающая до костей, проникающая под кожу и остающаяся там навсегда. Рука отдёргивается, как от огня, но потом снова тянется, касаясь пальцев, ладони, запястья - всё одинаково холодно, одинаково неподвижно.

«Мама», - шёпотом. Голос тихий, дрожащий, как у маленького зверька, потерявшего нору. Не узнаёт собственный голос - чужой, далёкий, будто принадлежит кому - то другому.

Мать не отвечает.

Пальцы касаются лица матери. Кожа холодная, как камень, как лёд, как та вода в реке, что никогда не становится тёплой даже в самый жаркий день. Скользят по щеке, по лбу, по закрытому веку - хотя глаза открыты, веко не опускается, застыло, как всё остальное. Никакого тепла. Никакого дыхания. Только холод.

«Мама», - громче, голос дрожит, но в нём появляется настойчивость, отчаяние, не желающее сдаваться. - «Вставай. Ты упала. Ты ударилась. Я помогу тебе. Я принесу воды. Я принесу тряпку. Я вытру кровь. Я всё вытру, и ты встанешь, и всё будет хорошо, как раньше».

Мать не отвечает.

Ли́ра садится рядом. Кладёт голову на грудь матери, как делала это сотни раз, когда была маленькой и боялась темноты, когда снились кошмары и приходила к маминой кровати искать убежище в объятиях. Прижимается ухом к тому месту, где должно биться сердце, и закрывает глаза. Слушает. Слушает тишину, которая была громче любого звука.

Тишина.

Никакого стука. Никакого ритмичного успокаивающего звука, знакомого с рождения, убаюкивавшего по ночам. Только пустота. Только холод, исходящий от тела, проникающий в щеку, в ухо, в душу. Запах крови, смешивающийся с запахом утра, солнца и реки, с тем знакомым родным ароматом дома, который теперь навсегда изменился.

Сначала Ли́ра не заметила их. Она была слишком занята - ждала, гладила маму, шептала ей что - то тёплое и ласковое, как мама шептала ей, когда она болела. Но потом она услышала звук. Тихое, назойливое жужжание. Она подняла голову и увидела муху. Она кружила над маминым лицом, садилась на её губы, на щеки, на закрытые глаза. Ли́ра протянула руку и прогнала её, но муха вернулась. А потом прилетела вторая. И третья. И целый рой, чёрный и жуткий, который кружил над телом матери. Ли́ра смотрела на них и не понимала, почему они здесь. Почему они не улетают. Почему они садятся на маму, как будто она - не мама, а что

- то другое. Она пыталась прогнать их, но их становилось всё больше. Она плакала, кричала на них, но они не уходили. «Уйдите! - шептала она, размахивая руками. - Уйдите от неё! Она моя! Она моя мама!» Но мухи не слушались. Они садились на мамино лицо, на мамины руки, на тёмное пятно на полу, которое всё ещё не высохло до конца. И Лира поняла, что не может их остановить. Как не может остановить то, что случилось. Как не может вернуть маму.

Ждёт. Минуты. Часы. Солнце поднимается выше, свет заливает комнату, делая почти ослепительной, и мухи начинают кружить - сначала одна, потом две, потом целый рой, чёрный и назойливый. Садятся на лицо матери, на руки, на платье, ползают по губам и векам, по тёмной запёкшейся крови на подбородке. Лира смотрит на них безразличным взглядом, не в силах прогнать, не в силах сделать хоть что - то. Просто лежит рядом, чувствуя, как время течёт мимо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.